

«Книга для родителей» написана мной
в сотрудничестве с моей женой Галиной
Стахивной Макаренко

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Может быть, книга эта — дерзость?

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны и, значит, историю мира. Могу ли я на свои плечи поднять величественную тяжесть такой необъятной темы? Имею ли я право, посмею ли я разрешить или развязать хотя бы главные ее вопросы?

К счастью, такая дерзость от меня не требуется. Наша революция имеет свои великие книги, но еще больше у нее великих дел. Книги и дела революции — это уже созданная педагогика нового человека. В каждой мысли, в каждом движении, в каждом дыхании нашей жизни звучит слава нового гражданина мира. Разве можно не услышать этого звучания, разве можно не знать, как мы должны воспитывать наших детей?

Но и в нашей жизни есть будни, и в будни рождаются сложные наборы мелочей. В мелочах жизни теряется иногда человек. Наши родители, бывает, в этих мелочах ищут истину, забывая, что у них под руками великая философия революции.

Помочь родителям оглянуться, задуматься, открыть глаза — скромная задача этой книги.

Наша молодежь — это с ни с чем не сравнимое мировое явление, величия и значительности кото-

рого мы, пожалуй, и постигнуть не способны. Кто ее родил, кто научил, воспитал, поставил к делу революции? Откуда взялись эти десятки миллионов мастеров, инженеров, летчиков, комбайнеров, командиров, ученых? Неужели это мы, старики, создали эту молодежь? Но когда же? Почему мы этого не заметили? Не мы ли сами ругали наши школы и вузы, походя ругали, считай, привычно; не мы ли считали наши наркомпросы достойными только ворчания? И семья как будто трещала по всем суставам, и любовь как будто не зефиром дышала у нас, а больше сквозняком прохватывала. И ведь некогда было — строились, боролись, снова строились, да и сейчас строимся, с лесов не слезаем.

А смотрите, в непривычно сказочных просторах краматорских цехов, на бесконечных площадях сталинградского тракторного, в сталинских, макеевских, горловских шахтах, и в первый, и во второй, и в третий день творения, на самолетах, на танках, в подводных лодках, в лабораториях, над микроскопами, над пустынями Арктики, у всех возможных штурвалов, кранов, у входов и выходов — везде десятки миллионов новых, молодых и страшно интересных людей.

Они скромны. Они нередко малоизысканные в беседе, у них иногда топорное остроумие, они не способны понять прелесть Пастернака — это верно.

Но они хозяева жизни, спокойны и уверены; они, не оглядываясь, без истерики и позы, без бахвальства и без нытья, в темпах, совершенно непредвиденных, делают наше дело. А покажите им какое-нибудь такое видение, о которых и мы уже начинаем забывать, ну вот, например, «Машиностроительный завод Н. А. Пастухова и С-я», и вы увидите, какое

тонкое остроумие будет обнаружено ими в каждом их движении!

На фоне этого исторического чуда такими дикими кажутся семейные «катастрофы», в которых гибнут отцовские чувства и счастье матерей, в которых ломаются и взрываются характеры будущих людей СССР.

Никаких детских катастроф, никаких неудач, никаких процентов брака, даже выраженных сотыми единицы, у нас быть не должно! И все-таки в некоторых семьях бывает неблагоприятно. Редко это катастрофа, иногда это открытый конфликт, еще чаще это конфликт тайный: родители не только не видят его, но не видят и никаких предвестников.

Я получил письмо, написанное матерью:

«Мы имеем одного лишь сына, но лучше бы его не было... Это такое страшное, непередаваемое горе, сделавшее нас раньше времени стариками. Не только тяжело, а и дико смотреть на молодого человека, падающего все глубже и глубже, в то время когда он мог бы быть в числе лучших людей. Ведь сейчас молодость — это счастье, радость!

Он каждый день убивает нас, убивает настойчиво и упорно всем своим поведением, каждым своим поступком».

Вид у отца малопривлекательный: лицо широкое, небритое, однощечное. Отец этот неряшлив: на рукаве какие-то перья, куриные, что ли, одно перо прицепилось к его пальцу, палец жестикулирует над моей чернильницей, и перо с ним.

— Я работник... понимаете, я работаю... вот... и я его учу... Вы спросите его, что он скажет? Ну, что ты скажешь: я тебя учил или нет?

На стуле у стены мальчик лет тринадцати, красивый, черноглазый, серьезный. Он, не отрываясь, смотрит на отца прямо ему в глаза. В лице мальчика я не могу прочесть никаких чувств, никаких выражений, кроме спокойно-пристального, холодного внимания.

Отец размахивает кулаком, наливая кровью перекошенное лицо.

— Единственный, а? Ограбил, оставил вот... в чем стою!

Кулак его метнулся к стене. Мальчик моргнул глазами и снова холодно-серьезно рассматривал отца.

Отец устало опускается на стул, барабанит пальцами, оглядывается, все это в полном замешательстве. Быстро и мелко дрожит у него верхний мускул щеки и ломается в старом шраме.

Он опускает большую голову и разводит руками:

— Возьмите куда-нибудь... что ж... Не вышло. Возьмите...

Он произносит это подавленным, просительным голосом, но вдруг снова возбуждается, снова поднимает кулак.

— Ну как это можно, как? Я партизан. Меня вот... сабля шкуровская... голову мою... разрубила! Для них, для тебя!

Он поворачивается к сыну и опускает руки в карманы. И говорит с тем глубочайшим пафосом мўки, который бывает только в последнем слове человеческого:

— Миша! Как же это можно? Единственный сын!

Мишины глаза по-прежнему холодны, но губы вдруг тронулись с места, какая-то мгновенная мысль пробежала по ним и скрылась; ничего нельзя разобрать.

Я вижу, это враги, враги надолго, может быть, на всю жизнь. На каких-то пустяках сшиблись эти

характеры, в каких-то темных углах души разыгрались инстинкты, расходились темпераменты. Нечаянный взрыв — обычный финал неосторожного обращения с характером — этот отец, конечно, взял палку. А сын поднял против отца свободную, гордую голову — недаром ведь отец рубился со шкуровцами! Так было вначале. Сейчас он извивается в беспомощности, а сын?

Я гляжу на Мишу сурово и тихо говорю:

— Поедешь в коммуну Дзержинского! Сегодня!

Мальчик выпрямился на стуле. В его глазах заиграли целые костры радости, осветили всю комнату, и в комнате стало светлее. Миша ничего не сказал, но откинулся на спинку стула и направил родившуюся улыбку прямо на шкурровский шрам, на замученные очи батьки. И только теперь я прочитал в его улыбке неприкрытую, решительную ненависть.

Отец печально опустил голову.

Миша ушел с инспектором, а отец спросил у меня, как у оракула:

— Почему я потерял сына?

Я не ответил. Тогда отец еще спросил:

— Там ему хорошо будет?

Книги, книги, книги до потолка. Дорогие имена на великолепных корешках. Огромный письменный стол. На столе тоже книги, монументальный саркофаг чернильницы, сфинксы, медведи, подсвечники.

В этом кабинете жизнь кипит, книги не только стоят на полках, а и шелестят в руках, газеты не только валяются между диванными подушками, а и распластываются перед глазами. Здесь события обсуждаются, живут — в интонациях, украшенных тонким знанием. А между событиями, растворенные в табачном дыме, «ходят» по кабинету лысины и прически, бритые подбородки, американские уси-

ки и янтарные мундштуки, и в рамках роговых оправ смотрят глаза, увлажненные росой остроумия.

В просторной столовой чай подается — не богатый, не старомодный самоварный чай, не ради насыщения, а чай утонченный, почти символический, украшенный фарфором, кружевными салфетками и строгим орнаментом аскетического печенья. Чутьочку томная, немного наивная, изысканно-рыженькая хозяйка балованными маникюрными пальчиками дирижирует чаем. К чаю «прилетают» веселым роем имена артистов и балерин, игриво-проказливые новеллы, легкокрылые жизнерадостные эпизодики. Ну а если к чаю подадут закуску и улыбающийся хозяин два-три тура сделает с графинчиком, тогда после чая снова переходят в кабинет, снова закурят, придавят на диване газетные листы, подомнут боками подушечки и, откидывая головы, захохочут над последним анекдотом.

Разве это плохо? Кто его знает, но среди этих людей всегда вертится и заглядывает в глаза двенадцатилетний Володя, мальчик худенький и бледный, но энергичный. Когда очередной анекдот почему-либо запаздывает выходом, папа подает Володю, подает в самой миниатюрной порции. В театральной технике это называется «антракт».

Папа привлекает Володю к своим коленям, щекочет в его затылке и говорит:

— Володька, ты почему не спишь?

Володя отвечает:

— А ты почему не спишь?

Гости в восторге. Володя опускает глаза на папино колено и улыбается смущенно — гостям так больше нравится.

Папа потрепывает Володю по какому-либо подходящему месту и спрашивает:

— Ты уже прочитал «Гамлета»?

Володя кивает.

— Понравилось?

Володя и в этот момент не теряется, но смущение сейчас не у места:

— А, не очень понравилось! Если он влюблен в... эту... в Офелию, так почему они не женятся? Они волюнтят, а ты читай!

Новый взрыв хохота у гостей. Из угла дивана какой-нибудь уютный бас прибавляет необходимую порцию перца:

— Он, подлец, алиментов платить не хочет!

Теперь и Володя хохочет, смеется и папа, но очередной анекдот уже вышел на сцену:

— А вы знаете, что сказал один поп, когда ему предложили платить алименты?

«Антракт окончен». Володя вообще редко подается в таком программном порядке — папа понимает, что Володя приятен только в малых дозах. Володе такая дозировка не нравится. Он вертится в толпе, переходит от гостя к гостю, назойливо прислоняется даже к незнакомым людям и напряженно ловит момент, когда можно спартизанить — и себя показать, и гостей развеселить, и родителей возвеличить.

За чаем Володя вдруг вплетает в новеллу свой звонкий голос:

— Это его любовница, правда?

Мать воздевает руки и восклицает:

— Вы слышите, что он говорит? Володя, что ты говоришь?!

Но на лице у мамы вместе с некоторой нарочитой оторопелостью написаны и нечаянные восхищение и гордость: эту мальчишескую развязность она принимает за проявление таланта. В общем списке изящных пустяков талант Володи тоже уместен:

японские чашки, ножики для лимона, салфеточки и ...сын замечательный.

В мелком и глупом тщеславии родители не способны присмотреться к физиономии сына и прочитывать на ней первые буквы будущих своих семейных неприятностей. У Володи очень сложное выражение глаз. Он старается сделать их невинными, детскими глазами — это по специальному заказу, для родителей, но в этих же глазах поблескивают искорки наглости и привычной фальши — это для себя.

Какой из него может выйти гражданин?

Дорогие родители!

Вы иногда забываете о том, что в вашей семье растет человек, что этот человек на вашей ответственности.

Пусть вас не утешает, что это не больше как моральная ответственность.

Может настать момент, вы опустите голову и будете разводить руками в недоумении, и будете лепетать, может, для усыпления все той же моральной ответственности:

— Володя был такой замечательный мальчик! Просто все восторгались.

Неужели вы так никогда и не поймете, кто виноват?

Впрочем, катастрофы может и не быть.

Наступает момент, когда родители ощущают первое, тихое огорчение. Потом второе. А потом они заметят среди уютных ветвей семейного дерева сочные ядовитые плоды. Расстроенные родители некоторое время покорно вкушают их, печально шепчутся в спальне, но на людях сохраняют достоинство, как будто в их производстве нет никакого прорыва. Ничего трагического нет, плоды созрели, вид достаточно приятен.

Родители поступают так, как поступают все бракоделы: плоды сдаются обществу как готовая продукция...

Когда в вашей семье появляется первая «детская» неурядица, когда глазами вашего ребенка глянет на вас еще маленькая и слабенькая, но уже враждебная зверушка, почему вы не оглядываетесь назад, почему вы не приступаете к ревизии вашего собственного поведения, почему вы малодушно не спрашиваете себя: был ли я в своей семейной жизни большевиком?

Нет, вы обязательно ищите оправданий...

Человек в очках, с рыженькой бородкой, человек румяный и жизнерадостный, вдруг завертел ложечкой в стакане, отставил стакан в сторону и схватил папиросу:

— Вы, педагоги, все упрекаете: методы, методы! Никто не спорит, методы, но разрешите же, друзья, основной конфликт!

— Какой конфликт?

— Ага! Какой конфликт? Вы даже не знаете? Нет, вы его разрешите!

— Ну, хорошо, давайте разрешу, чего вы волнуетесь?

Он вкусно затянулся, пухлыми губками выстрелил колечко дыма и... улыбнулся устало:

— Ничего вы не разрешите. Конфликт из серии неразрешимых. Если вы скажете, тем пожертвовать или этим пожертвовать, какое же тут разрешение? Отписка! А если ни тем, ни этим нельзя пожертвовать?

— Все же интересно, какой такой конфликт?

Мой собеседник повернулся ко мне боком. Поглядывая на меня сквозь дым папиросы, перекидывая

ее в пальцах, оттеня папиросой мельчайшие нюансы своей печали, он сказал:

— С одной стороны, общественная нагрузка, общественный долг; с другой стороны, долг перед своим ребенком, перед семьей. Общество требует от меня целого рабочего дня: утро, день, вечер — все отдано и распределено. А ребенок? Это же математика: подарить время ребенку — значит, сесть дома, отойти от жизни, собственно говоря, сделаться мещанином. Надо же поговорить с ребенком, надо же многое ему разъяснить, надо же воспитывать его, черт возьми!

Он высокомерно потушил в пепельнице недокуренную нервную папиросу.

Я спросил осторожно:

— У вас мальчик?

— Да, в шестом классе — тринадцать лет. Хороший парень, и учится, но он уже босяк. Мать для него — прислуга. Груб. Я ж его не вижу. И представьте, пришел к нему товарищ, сидят они в соседней комнате, и вдруг слышу: мой Костик ругается. Вы понимаете, не как-нибудь там, а просто кроет матом.

— Вы испугались?

— Позвольте, как это «испугался»? В тринадцать лет он уже все знает, никаких тайн. Я думаю, и анекдоты разные знает, всякую гадость!

— Конечно, знает.

— Вот видите! А где был я? Где был я, отец?

— Вам досадно, что другие люди научили вашего сына ругательным словам и грязным анекдотам, а вы не приняли в этом участия?

— Вы шутите! — закричал мой собеседник. — А шутка не разрешает конфликта!

Он нервно заплатил за чай и убежал.

А я вовсе не шутил. Я просто спрашивал его, а он что-то лепетал в ответ. Он пьет чай в клубе и болтает со мной — это тоже общественная нагрузка. А дай ему время, что он будет делать? Он будет бороться с неприличными анекдотами? Как? Сколько ему было лет, когда он сам начал ругаться? Какая у него программа? Что у него есть, кроме «основного конфликта»? И куда он убежал? Может быть, воспитывать своего сына, а может быть, в другое место, где можно еще поговорить об «основном конфликте»?

«Основной конфликт» — отсутствие времени — наиболее распространенная отговорка родителей-неудачников. Защищенные от ответственности «основным конфликтом», они рисуют в своем воображении целительные разговоры с детьми. Картина благодная: говорит, а ребенок слушает. Говорить речи и поучения собственным детям — задача невероятно трудная. Чтобы такая речь произвела полезное воспитательное действие, требуется счастливое стечение многих обстоятельств. Надо прежде всего, чтобы вами была выбрана интересная тема, затем необходимо, чтобы ваша речь отличалась изобретательностью, сопровождалась хорошей мимикой; кроме того, нужно, чтобы ребенок отличался терпением.

С другой стороны, представьте себе, что ваша речь понравилась ребенку. На первый взгляд может показаться, что это хорошо, но на практике иной родитель в таком случае взбеленится. Что это за педагогическая речь, которая имеет целью детскую радость? Хорошо известно, что для радости есть много других путей; «педагогические» речи, напротив, имеют целью огорчить слушателя, допечь его, довести до слез, до нравственного изнеможения.

Дорогие родители!